



УДК 821.161.1

**А. Ю. БОЛЬШАКОВА\***

## **«ЧТО СТАЛОСЬ С НАМИ ПОСЛЕ»?**

### **Валентин Распутин в полемическом контексте: pro et contra**

Особое внимание в статье уделено полемике вокруг В. Г. Распутина и деревенской прозы в современной периодике — с опорой на факторы сохранения памяти культуры, проявляющиеся в художественной индивидуализации литературных архетипов в «Прощании с Матёрой», «Дочь Ивана, мать Ивана» и других произведениях писателя. Пафос работы направлен на противодействие концепциям, где В. Г. Распутин и другие «деревенщики» подпадают под критическое отрицание как «разрушители», якобы воспевавшие гибель русской деревни. На основе рассмотрения ведущих архетипов русской культуры (таких как Бог — Мир — Человек, Раскол, Время и Вечность, Деревня и Город и др.) прослеживаются связи творчества В. Г. Распутина с литературой русского Средневековья и классикой.

*Ключевые слова:* В. Г. Распутин, «Прощание с Матёрой», деревенская проза, архетип, литература русского Средневековья.

---

\* Алла Юрьевна Большакова — доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени А. М. Горького Российской Академии наук (Москва, Российская Федерация); [allabolshakova@mail.ru](mailto:allabolshakova@mail.ru)

Вверху — портрет Валентина Распутина работы фотохудожника Вячеслава Сачкова.

Валентин Распутин — один из ярчайших представителей того литературно-философского направления, которое наши критики и литературоведы то извинительно, то пренебрежительно, а порой язвительно называют «деревенской прозой». Момент извинительности заключается во всяческих оговорках и приседаниях: мол, термин это рабочий, необязательный и т. п. Момент уничижительности исходит из подхваченной нашими скорохватами от науки и литературы формулировки Маркса об идиотизме деревенской жизни. Сразу оговорюсь: оба представления не несут в себе какой-либо серьёзной теоретической аргументации и совершенно неверны. Якобы неточный термин «деревенская проза» абсолютно точно схватывает суть обозначенного им литературно-философского феномена и абсолютно точно указывает на ту социально-историческую почву, из которой произросли наши выдающиеся прозаики и поэты второй половины XX в. Впрочем, не только наши, если иметь в виду, может быть, не в полной ещё мере осознанное значение таких писателей, как Валентин Распутин, Виктор Астафьев, Василий Белов, Евгений Носов, Василий Шукшин...

«Что случилось с нами после?» — задаётся Распутин вопросом в рассказе «Уроки французского». Сказанное, кажется, так и звучит в ряду классических вопросов XIX века: «что делать?» и «кто виноват?». Но вслушаемся в этот вопрос попристальней. Не вчитаемся, а именно вслушаемся. И мы уловим несколько иное: «что стало **с нами** после?» — т. е. что ушло в сновидения, грёзы, в область мифов и преданий о былом. Ведь главная особенность прозы Распутина состоит в том, что его слово является поэтическим в подлинном смысле. А поэтическое слово в первую очередь обращено не к зрению, а к слуху. И вот здесь это качество проявляется в соответствии с той эмпирической данностью, в которой жил Распутин, — человек, не заставший ни Отечественной войны, ни коллективизации, ни царских времён, а мог услышать лишь их эхо. И сам стал *эхом русского народа, эхом трагедии русского крестьянства*.

Отсюда жёсткий распутинский императив: «живи и помни». Без памяти нет жизни, а без жизни нет памяти: нет того духовного мира, который составляет смысл нашей жизни. Этот императив («живи и помни») и этот вопрос («что случилось с нами?» или «что стало **с нами**»?) прослеживаются буквально во всех произведениях писателя: «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», «Последний срок», «Дочь Ивана, мать Ивана»...

Западная русистика, справедливо отдавая должное «деревенской прозе» как наиболее значительному направлению в русской литературе послесталинского периода, считает её беспрецедентным для Запада феноменом. Позволю себе и согласиться, и не согласиться с этим тезисом. Если мы соотнесём их произведения — и прежде всего Валентина Распутина — с общей линией развития американской литературы от Мелвилла до Фолкнера и далее, то обнаружим не только общие мотивы возвращения к отчуждённому дому и, конечно же, не только следование традиции.

Чему удивился Запад, прочитав такие произведения, как «Прощание с Матёрой», «Последний срок» В. Г. Распутина, или «Последний поклон» В. П. Астафьева, или «Привычное дело» В. И. Белова, или «Калина красная» В. М. Шукшина? Да тому, что в идеологически чуждом ему обществе, начертавшем на своих знамёнах «Прогресс — движение вперёд!», увидел

открыто выраженное сомнение в догме обязательного прогресса при смене общественно-экономических формаций. И совершенно справедливо расценил это выраженное великим писателем сомнение нации как показатель глубочайшего кризиса господствовавшей в СССР идеологии.

Действительно, в те уже мифические 1970-е многие так и думали: стоит скинуть советскую власть — и крестьянство возродится. Но свергли советскую власть — а крестьянство так и не восстановилось. И уже тогда Валентин Распутин, Виктор Астафьев, Василий Белов осмысливали происходящие в стране и во всём мире процессы куда глубже и серьезней. И эти глубинные процессы — раскрестьянивание крестьянина, превращение его в наёмного работника — они рассматривали в мировом масштабе.

Но если, скажем, в Западной Европе эти изменения, растянувшись на столетия, свершались сравнительно мягко, то у нас они осуществлялись в кратчайшие сроки: я имею в виду сталинскую коллективизацию. Но, очевидно, не только Сталин повинен в этой трагедии. Истоки её уходят и в нерешительность Николая I, не сумевшего исполнить завет Екатерины Великой и дать свободу крестьянину; и в неудавшуюся крестьянскую реформу 1861 года; и в столыпинское освоение целины, ставшее одним из детонаторов гражданской войны.

Что касается творчества В. Распутина и других представителей деревенской прозы — зарождение, расцвет и мощный закат её связаны с тем кратким периодом передышки русского крестьянина, которую он получил после Второй мировой войны, трудного послевоенного восстановления и хрущёвского колхозного крепостничества, т. е. во второй половине 1960–70-х гг. прошлого столетия.

Как отмечалось в мировой русистике, русская деревенская проза, «войдя с конца 1950-х гг. в основное течение русской литературы, породила одни из самых значительных произведений XX в.» [10, 29] и стала «наиболее убедительным свидетельством её выживания в многонациональном СССР в период застоя» [11, X]. Относясь к деревенской прозе как к прямой наследнице русской классики XIX в., мировая русистика искала именно в ней (и в творчестве Распутина как самого переводимого на Западе писателя) разгадку русской души в её устремлённости к идеалу — в противовес ощущению бесцельности, абсурдности бытия.

Однако в последнее время усиливается противоположная тенденция. Ещё недавно мы сетовали на угасание интереса к деревенской прозе как предмету якобы познанному, идеологически и художественно исчерпанному себя. Теперь всё наоборот — хотя далеко не лучше!

Удивительно, но факт. Проза Распутина и его единомышленников, прочно занявшая своё место в учебниках и хрестоматиях на правах русской классики второй половины XX в., неожиданно всколыхнула умы и стала предметом острых споров на страницах нынешней периодики. Ожесточённая полемика развернулась недавно в «Российском писателе» и «Литературной России». Одна из центральных статей, обличающая деревенщиков как «разрушителей», носит знаковое название: «В тени Распутина» [5]. Покушение на авторитеты? Ради чего?

Думается, и отрицание великих, и их героическая защита — весь этот неожиданный взрыв любви и ненависти, поместивший хрестоматийные тексты в

эпицентр страстей, — есть показатель неких потаённых процессов, исподволь движущих нашим обществом, нацией, историей. Показатель поисков нашей нацией, нашей Россией самоопределения во взвинченном, катастрофически неустойчивом, с размытыми границами и критериями мире.

Нелепо читать про якобы воспевавшуюся Распутиным и ему подобными «отсталыми» классиками XX в. гибель деревни. Мы забыли или никогда не осознавали, что движут нами не правительство, не экономика иль политика, но — коренящиеся в национальном бессознательном архетипы: хранители нашей культурно-исторической памяти; врождённые установки, определяющие наше мировосприятие. Центральный и древний из них — архетип *Деревня*, превративший нашу исконно аграрную нацию в Русь–Россию. Исчезновение традиционной деревни не искоренило русской тяги к Земле, возрождение которой — залог выхода из кризиса! Тяга к земле заложена в нас предками и неискоренима! Наши огромные пустующие пространства ждут своего хозяина. Невозможно представить, что Россия так и останется страной пустынных, заброшенных земель! Если это случится — нас ждёт саморазрушение.

Не устаю повторять: никакие реформы не будут успешными, если они не опираются на архетипы — исконные установки национального бессознательного. Самодвижение народной жизни, как уже не раз показала историческая практика, идёт тогда вразрез спускаемым сверху изменениям. Так началось со времён церковного раскола, разделившего русский мир в XVII в., и длится с тех пор, отзываясь в XX в. новыми расколами нации в 17-м году и Гражданской войне, в переломных 90-х...

На значение архетипа *Раскол* для духовной жизни России и всего человечества, а также на особенности его актуализации на русской почве настойчиво обращал внимание В. Г. Распутин — в частности, в статье «Смысл давнего прошлого»: «Религиозный раскол, который потряс Россию, подобно землетрясению, в XVII веке и продолжался до века XX, сам по себе явление настолько же русское, насколько и общечеловеческое. Он возник на русской почве, произошёл из русского характера и, в свою очередь, повлиял на развитие этого характера, протекал так, как нигде больше, ни в каком другом народе не мог протекать. Но выражал он собой такие общие понятия и причины, какими руководится при движении и тормозится духовная цивилизация» [9, 113].

Впервые во всю мощь прозвучав в «Житии» протопопа Аввакума, идея сопротивления Расколу стала набирать силу в последующей русской литературе, став наиболее актуальной в деревенской прозе и далее. К примеру, у Владимира Личутина — автора исторической эпопеи «Раскол» и романов о современной России «Беглец из рая», «В ожидании Бога». В мировоззренческой системе Личутина Раскол — трагическая болезнь национального древа жизни, что издревле подтачивает его корни и жизнеспособные силы. Из романа в роман кочует тревожный лейтмотив: «Всякое царствие, разделившись, опустеет. И всякий дом, ополовиненный, не устоит» [3, 342].

Писатели-«деревенщики» не «воспевали» гибель деревни, как это теперь пытаются доказать безграмотные критики, но запечатлели (через художественную индивидуализацию одного из ведущих национальных архетипов) преддверие нового Раскола, обозначившего конец крестьянской цивилизации в завершении советской эпистемы. Они действовали по закону эстетизации

явления на пороге его исчезновения, перенося тем самым уходящий из исторической реальности идеал — в возможное будущее. По закону исторической инверсии, открытому М. М. Бахтиным. Но, очевидно, эти законы литературного творчества не известны обвинителям.

Возьмём для примера упомянутое антираспутинское выступление, изобилующее хлесткими, но бездоказательными обвинениями. Мол, деревенщики, подобно протопопу Аввакуму (?!), звали к смерти и всё разрушали. Мол, именно деревенская проза повинна в «смерти России» (но до этого ещё далековато!). Под пером безответственного щелкопёра Распутин и иже с ним становятся создателями рыночной экономики («Гнали из парткома к храму — вытолкнули на рыночный мороз») и, по сути, теневым правительством, которое якобы привело нашу многострадальную страну к гибели («своими руками народ загубили»), с них начался «крах нашей русской жизни»). Дальше больше: цитирую один из контрапунктов полемики. «*“Выйти России из состава Союза”*». Это *Валентин Григорьевич Распутин*. Народный депутат. Потом поправлялся и оправдывался: «Не так поняли». Нет, поняли верно. Выйти» [5; выделено мною. — А. Б.].

Известна горько-покаянная фраза: «Целили в коммунизм, а попали в Россию». В отличие от таких ниспровергателей, В. Распутин в своей речи на Первом съезде народных депутатов в 1989 году, как и в своём художественном творчестве, вовсе не культивировал архетип Раскола, ставший бичом для России и русских на века. Слова о выходе России из состава Союза были у него риторической фигурой со знаком вопроса, дабы отрезвить жителей советских республик, помочь им урегулировать отношения с Россией и прекратить начавшуюся уже тогда вражду:

«О стране. Никогда ещё со времён войны её державная прочность не подвергалась таким испытаниям и потрясениям, как сегодня... Шовинизм и слепая гордыня русских — это выдумки тех, кто играет на ваших национальных чувствах, уважаемые братья... Русофобия распространилась в Прибалтике, Грузии, проникает она и в другие республики... Антисоветские лозунги соединяются с антирусскими... Но по русской привычке бросаться на помощь, я размышляю: а может быть, России выйти из состава Союза, если во всех своих бедах вы обвиняете её и если её слаборазвитость и неуклюжесть отягощают ваши прогрессивные устремления?» И далее:

«Жить нам вместе или не жить, но не ведите по отношению к нам себя высокомерно, не держите зла на того, кто его, право же, не заслужил... *А лучше всего вместе бы нам поправлять положение. Для этого сейчас, кажется, есть все возможности*» [6, 458–459; выделено мною. — А. Б.].

Ни Распутин, ни Астафьев, ни Белов, ни другие представители деревенской прозы никогда не призывали к распаду СССР<sup>1</sup>. Да, они были зачинщиками перестройки, они мечтали о перестройке — но не о той, которая сделала богатых более богатыми, а бедных более бедными. Мечтали о той перестройке, которая бы сделала всех нас (и прежде всего крестьянство!) счастливее, богаче, свободнее.

<sup>1</sup> В дискуссии в «Российском писателе» 2016 г. в выступлении с красноречивым названием «Валентин Распутин не призывал к распаду СССР» группа иркутских писателей уже выступила в защиту Распутина, как и затем А. Тимофеев в статье «Почвенничество как будущее России». Считаю, однако, уместным ввести свои комментарии для прояснения вопроса.



Неудивительно, что у разрушающих наши идеалы полемистов, пытающихся укрыться «в тени Распутина», о «деревенщиках» как таковых речи вроде и не идёт. Так, в упомянутой статье названы лишь несколько общераспространённых фамилий (распутиных и беловых ведь много!) и не приведено ни одного названия их произведений, а вместо имён героев небрежно предложен «список» из трёх прозвищ. Критик открыто расписывается в своём нежелании нынче читать канонические тексты: «Можно ли читать и почитать *Распутина* и Белова после этого бесконечного потока Анисий, Ильичей, Петровн?...» [5; выделено мною. — А. Б.]. О чём же речь? Весьма смутно: о неких текстах неких подражателей и эпигонов (согласно ярлыку критика) деревенской прозы, имеющих к ней весьма косвенное, нередко дискредитирующее отношение.

Буду точной. Разоблачаемые «эпигоны» в статье не совсем безымянны. На самом деле вскользь упомянуты имена современных писателей А. Байбородина и Д. Ермакова (за их старообрядческие корни!) для иллюстрации ретроградства «теневого» направления и А. Тимофеева (с его слов почему-то цитируется М. П. Лобанов). Его соратник А. Антипин здесь вообще не упоминается. Из художественных текстов выдраны две краткие цитаты: одна анонимная, а в другой под видом цитирования выдана искажённая версия исходного дивного эссе Байбородина. Сравним же два образца его прозы. Первый — придуманный бездарным критиком, заключившим в кавычки собственное нелепое измышление: «*“Счастье, что били меня, счастье, что не было телевизора, счастье, что Бог отворотил меня от техники, и был я дворником”*». В этой формуле, выведенной Анатолием Байбородиним “Счастье, или нет худа без добра”,... не квинтэссенция ли всего современного теневого почвенничества?».

На самом деле речь в автобиографическом эссе известного писателя идёт о том, что, в отличие от лелеявшей младшего сына матушки, отец сызмальства приучал его к труду и аккуратности, и если сын разбрасывал драгоценные в бедной крестьянской семье инструменты, «мог захлестнуть вожжами, коль подвернёшься под горячую руку. Это привадило меня к порядку» [2]. Где же здесь искомый злым критиком мазохизм?

Теперь о преимуществах жизни без телевизора: «Смалу и до зрелости не ведал я телевизора... зубрил стихи при керосиновой лампе, читал волшебные сказки... сызмала и по сивую бороду люблю бажовское “Серебряное копытце” и стихи Пушкина, навеянные поэту крестьянской няней Ариной Родионовной. Вижу сквозь сумрак лет: в тёплую, ласковую избу с воем скребётся пурга, и дивно при сказочно мерцающем, чарующем, желтоватом язычке пламени сказывать, метельно завывая: “Вьюга мглою небо кроет...”» [2]. Вспомним о беде нынешнего детского здоровья: поголовное ухудшение зрения и оскудение духовного мира из-за замены чтения литературы уходом в телевизионно-интернетную версию реальности. Нелишне таким «последним из могикан», как Байбородин, напомнить нам, чего лишилось подрастающее поколение!

И, наконец, о дворничестве, которым, кстати, вынуждены были заниматься многие писатели в силу необходимости. И что в том плохого, если нужная работа по очищению нашего быта ещё и давала молодому писателю время и силы для литературного творчества? К тому же аксиома жизненного успеха гласит: надо любить свой труд, в какой бы области ни приходилось работать.

И если завравшемуся критику труд дворника кажется унижительным, мы попросту имеем дело с дефицитом уважения к человеку!

Отмечу ещё, что в качестве «либерального» образца ретроградства и «нового луддизма» (якобы весьма близкого Распутину, который, по сведениям критика, негативно высказался об интернете десять лет назад —?!), взято... выступление президента Музея изобразительных искусств И. А. Антоновой о судьбах искусства и книги в современном мире, где нет и намёка на деревенскую прозу. С таким же успехом нелепый очернитель мог обвинить «деревенщиков» в падении Пизанской башни или вирусных интернет-атаках. Вот она — подмена предмета дискуссии!

Притом совершенно не учитывается, что деревенская проза — явление, относящееся к определённом историческому периоду и имеющее чёткие хронологические рамки: 1960–1990-е, в которых различаются несколько периодов — ранний, канонический и постпериод. Об этом написаны сонмы исследований, у нас и за рубежом. Однако нынешние как-то промахнули. В упомянутой статье опять же не названо ни одного имени исследователя деревенской прозы — свой эклектичный коллаж «разоблачитель» создаёт на пустом листе, словно до него ничего и не было<sup>1</sup>.

Критика же постдеревенских (как я определяю последователей «деревенщиков» в новом столетии) писателей с тенденциозным разбором текстов двух талантливых их представителей, А. Антипина и А. Тимофеева, вынесена критиком в отдельную статью, как бы предваряющую «В тени Распутина», — очевидно, чтоб безнаказанно (словно это уже само собой разумеется) топтать их ногами, не утруждая себя особыми доказательствами. Однако в той предваряющей статье с нарочито нафталиненным названием «Дедушкина литература» критик всё-таки вынужден был оторвать дискредитированные им фигуры от классиков деревенской прозы: «Этой очевидной неоригинальности, отсутствия живого поиска правды не было ни у Белова, ни у Распутина» [4]. Но если не было, так что тогда разоблачать-то «в тени Распутина»? Живой поиск правды «деревенщиками»? Или как-то подзабылось автору, спешащему выдать очередную скороспелую статейку, своё же положение, отделяющее «неоригинальные» попытки разоблачённых им «теневых» писателей от самобытного слова Распутина и иже с ним? Не понял он, что сам себе стал противоречить, выстраивая зыбкую версию «теневого» деревенской прозы?

Притом замечу: о том, что есть деревенская проза как литературное направление второй половины XX в., как-то само собой здесь разумеется и вовсе не объясняется. Но разумеется ли? Распространённая ошибка былых лет, несмотря на все мои попытки исправления, укоренилась! Деревенская проза по-прежнему понимается лишь как литература *о деревне*. Как будто не было таких великих произведений *о войне*, как «Живи и помни» В. Распутина,

---

<sup>1</sup> Опять же уточню: одно имя всё-таки названо — критика Михаила Лобанова, хотя его высказывание «Форма — не главное» воспроизводится со слов А. Тимофеева — опять же без всякой ссылки, лишь для подкрепления автором статьи своей разоблачительной линии. Но это ли метод цитирования? И при чём тут деревенская проза? Или точность вообще не в чести у зарвавшегося полемиста, который, очевидно, и такого серьёзного исследователя деревенской прозы, как Лобанов, не удосужился почитать?

«Пастух и пастушка», «Прокляты и убиты» В. Астафьева, «Красное вино победы» Е. Носова. Или *о жизни городской* — «Дочь Ивана, мать Ивана» В. Распутина? Значит, нельзя судить деревенскую прозу сугубо по тематическому признаку — суть её в чём-то ином. В чём же?

Творчество Распутина и вся деревенская проза есть логическое продолжение и своего рода завершение одной из магистральных линий в движении русской литературы XVIII–XX вв. Я имею в виду прежде всего литературный архетип *Деревня*, впервые сформировавшийся у Пушкина (в стихотворении «Деревня», деревенских главах «Евгения Онегина», в «Барышне-крестьянке» и пр.), но проявившийся ещё в творчестве Карамзина, Радищева и др. Дальнейшее его развитие видим мы у Гоголя, Тургенева, Гончарова, Льва Толстого, Достоевского, Лескова, Чехова и Бунина, и далее — в веке XX. В разных произведениях проявились разные грани этого архетипа: лики помещно-крестьянской Деревни — между идиллией и жестокой реальностью (см. об этом подробнее в [1]). Деревенская проза 1960–1990-х — прощальный поклон русской земледельческой цивилизации — стала мощным завершением этой линии. Отрицать её — значит отрицать всю русскую классическую литературу!

Однако *память литературы*, побуждая идти ещё дальше, возвращает нас к первоисточкам: в древнерусскую литературу, когда только появились те архетипы, которые с невиданной силой раскрылись через столетия в деревенской прозе: в прозе классика XX в. В. Г. Распутина. Уже обозначенный нами архетип Раскола, впервые мощно проявившийся в «Житии» протопопа Аввакума, прорезает всё пространство распутинской прозы, вступая в противоборство с хранителями вековых ценностей — архетипами Мир, Родная Мать-Земля.

В «Прощании с Матёрой» знаменитая в мировой литературе островная модель как воплощение архетипа Мира и Родной Земли подвергается непомерному испытанию. Время и пространство разведены вплоть до полной антагонистичности — в ситуации исчезновения, разрушения полой, ненужной Расколу матрицы первосотворения. «Та Матёра и не та...»; «Всё на месте, да не всё так...» [7, II, 3–4]. На изображение реальной социоисторической ситуации потопления русских деревень, нашей Родной Земли падает отсвет библейского мифа о всемирном потопе, архаичных представлений о плоской земле, древних сказаний об исчезнувшей в путинах вод Атлантиде.

Горькую историческую реальность отразила такая индивидуализация архетипа Раскола — в нынешнем цивилизационном расколе оказавшаяся, увы, отнюдь не мифом! За постсоветский период в нашей стране исчезло 26 тысяч деревень. Большая часть пашен не работает, земли стали бесхозными. Села опустели, закрываются больницы, школы, библиотеки, почты, дома культуры. Работать негде, жить невозможно. Положение аховое! И не только в деревне, но и во всё более отчуждаемом от человека городе.

Социологи ещё в 1990-х предупреждали о тяжких последствиях небрежения к национальным архетипам — особенно оборачивающихся своей негативной стороной. Проза Распутина и других деревенщиков не воспевала начало нового Раскола и гибели Деревни, но с болью и тревогой запечатлела эти процессы в своих произведениях, справедливо названных *литературой предупреждения!* О том, чем обернулся на переломе веков новый Раскол,



подавивший традиционный для нашей исконно аграрной страны архетип *Деревня*, поведал нам Распутин в своей последней повести «Дочь Ивана, мать Ивана», запечатлевшей другую часть исконной антиномии Город–Деревня.

«Чего хотели “деревенщики”?» — вопрошает очернитель, скрывающийся «в тени Распутина». И вновь беспомощно разводит руками: «Сказать трудно. Даже в последней повести Распутина “Дочь Ивана, мать Ивана” виден лишь обзор ситуации, *осторожная проба* всего того, что предлагают в качестве ответа на вопрос “куда идти?” другие» [5; выделено мною. — А. Б.]. Ничего себе «осторожная»! Да и кто эти опять же не названные «другие»?

Вынесенная в название повести Распутина идея родового преемственности по мере развития сюжета обретает статус национальной, державной. Дочь Ивана, мать Ивана — это ведь сама Россия: на заданном называнием эмблематическом уровне — двуглавый орел, точнее орлица, обращённая одновременно в разные стороны света. Одним ликом — в прошлое, которого «как будто и не было», но которое постоянно присутствует в размышлениях и поступках героев; другим — в насильственно обрубленное будущее. А что ж настоящее? Может, его тоже нет? И городской рынок, подмявший под себя заводские цеха, автобазу, где работал муж героини Анатолий (сфера трудовой деятельности); школу, где учились их дети (сфера воспитания и образования); милицию, прокуратуру, суд, приторговывающие «справедливостью» (сфера правопорядка), — вся эта искажённая действительность нынешнего города тоже всего лишь наваждение, сон?

К сожалению, — наваждение, но не сон.

Понятно, что писатель не идеализирует прошлое — неслучайно его героиня всё-таки «убежала» из родной деревни (потом точно так же убегает из постсоветской школы её дочь Светлана). Понятно и то, что будущее, несмотря на жизнеутверждающую вроде бы концовку повести, представляется писателю отнюдь не в розовом свете — скорее, продолжением того же рынка, где по одну сторону прилавка властвуют новые господа, «сознающие свою силу», а по другую толпится «не понимающий, что с ним происходит... народ» [8, 177–178]. Но столь же ясно и то, что пока из этого народа, из его массово-добровольного рабства будут выламываться такие люди, как Тамара Ивановна — главная героиня повести; её сын Иван; не растерявший себя в новых условиях справный мужик Дёмин или честный служака закона следователь Николин, — Россия не иссякнет!

Кажется, их мало, очень мало таких людей, способных на решительный поступок. Да и сами они чувствуют себя порою песчинкой в неумолимых жерновах «судьбы и рока». Однако и «песчинка» способна разладить однажды заведённый механизм. Повесть Распутина — не о способности «песчинки» к бунту, а о готовности к осознанному действию. Неизбежность схватки не на жизнь, а на смерть нации с экспансией торгашества и насилия — для него очевидна. И тут возникает другой вопрос: на какие *духовно-нравственные ценности* может опереться в этой схватке русский народ?

В ответе на этот вопрос и заключается значение Валентина Распутина. В «Прощании с Матёрой» мы видим древний земледельческий мир, словно застывший на пороге своего исчезновения, — и все усилия автора направлены на сохранение его в нашей памяти: «Пышно, богато было на матёринской земле...» Говоря вещими словами одной из его героинь, старой крестьянки

Дарьи: «Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни» [7, II, 152; выделено мною. — А. Б.].

Это национальное культурное наследие, которое должно всегда быть с нами — как и имя, и творчество великого русского писателя Валентина Распутина!

Будучи голосом насильственно уничтожаемой крестьянской цивилизации, он раскрыл всему миру её непреходящие духовные ценности. И, видя несправедливость и корыстолюбие властей по отношению к этой цивилизации, отдал все свои силы для сохранения правды памяти.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Большакова А. Ю.* Деревня как архетип: от Пушкина до Солженицына. 2-е изд., испр. и дополн. М.: Комитет Правительства Москвы, 1999. 86 с.
2. *Байборodin А. Г.* Счастье: Избранные произведения // <http://www.proza.ru/2012/04/28/1348>
3. *Личутин В. В.* Собр. соч.: в 12 т. Т. I. М., 2015. 420 с.
4. *Морозов С. Б.* Дедушкина литература // Литературная Россия. 2016. № 5 // <http://www.litrossia.ru/item/8604-dedushkina-literatura>
5. *Морозов С. Б.* В тени Распутина // Литературная Россия. 2016. № 11 // <http://www.litrossia.ru/item/8763-v-teni-rasputina>
6. Первый съезд народных депутатов СССР. 25 мая — 9 июня 1989 г.: Стенографический отчёт. Т. II. М., 1989.
7. *Распутин В. Г.* Собр. соч.: в 2 т. (Серия «Русский путь»). Калининград: ФГУИПП «Янтарный сказ», 2001. 1312 с.
8. *Распутин В. Г.* Дочь Ивана, мать Ивана: Повесть, рассказы. Иркутск: Издатель Сапронов, 2004. 464 с.
9. *Распутин В. Г.* В поисках берега: Повесть, очерки, статьи, выступления, эссе. Иркутск: Издатель Сапронов, 2007. 320 с.
10. *Brown E. J.* Russian Literature Since the Revolution. Harvard: Harvard University Press, 1982. 267 p.
11. *Parthé K. F.* Russian Village Prose: The Radiant Past. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1992. 315 p.

### REFERENCES

1. *Bolshakova A. Ju.* Derevnja kak arhetip: ot Pushkina do Solzhenicyna. 2-e izd., ispr. i dopoln [The village as an archetype: from Pushkin to Solzhenitsyn]. M.: Komitet Pravitel'stva Moskvy, 1999. 86 s.
2. *Bajborodin A. G.* Schast'e: Izbrannye proizvedenija [Happiness: selected works] // Available at: <http://www.proza.ru/2012/04/28/1348>
3. *Lichutin V. V.* Sobr. soch.: v 12 t. T. I. [Complete works in 12 vols. Vol. 1]. M., 2015. 420 s.
4. *Morozov S. B.* Dedushkina literatura [Grandfather's literature] // Literaturnaja Rossija. 2016. № 5. Available at: <http://www.litrossia.ru/item/8604-dedushkina-literatura>
5. *Morozov S. B.* V teni Rasputina [In the shadow of Rasputin] // Literaturnaja Rossija. 2016. № 11. Available at: <http://www.litrossia.ru/item/8763-v-teni-rasputina>
6. Pervyj s'ezd narodnyh deputatov SSSR. 25 maja — 9 ijunja 1989 g.: Stenograficheskiy otchjot. T. II. [The first Congress of people's deputies of the USSR. May 25 — June 9, 1989]. M., 1989.

7. *Rasputin V. G.* Sobr. soch.: v 2 t. (Serija «Russkij put'») [Complete works in 2 vols. ("Russian way")]. Kaliningrad: FGUIPP «Jantarnyj skaz», 2001. 1312 s.
8. *Rasputin V. G.* Doch' Ivana, mat' Ivana: Povest', rasskazy [Ivan's daughter, Ivan's mother: A story and short stories]. Irkutsk: Izdatel' Sapronov, 2004. 464 s.
9. *Rasputin V. G.* V poiskah berega: Povest', ocherki, stat'i, vystuplenija, esse [In search of the coast: A story, sketches, articles, speeches, essays]. Irkutsk: Izdatel' Sapronov, 2007. 320 s.
10. *Brown E. J.* Russian Literature Since the Revolution. Harvard: Harvard University Press, 1982. 267 p.
11. *Parthé K. F.* Russian Village Prose: The Radiant Past. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1992. 315 p.